

**И. И. Катаев**

# **Сердце**

**Москва  
Книга по Требованию**

УДК 82-3  
ББК 84

**И. И. Катаев**

Сердце / И. И. Катаев – М.: Книга по Требованию, 2011. – 50 с.

**ISBN 978-5-4241-2783-0**

Катаев Иван Иванович - один из руководителей группы «Перевал». Был членом правления Союза писателей с 1934 и создателем «Литературной газеты». Попутно работал в издательстве «Город и деревня», печатал рассказы и очерки. 1927 - выходит повесть «Сердце». Затем - «Поэт», «Жена», сборник «Отечество»... 1930 - началась кампания в печати против «Перевала» в связи с выходом двух сборников И. И. Катаева. За рассказ «Молоко» писателя обвинили в проповеди христианства статья в «Правде» под заголовком «О „сладеньких попиках“ и „всеобщем молочке“». 1934 - опубликованы рассказы «Встреча» и «Ленинградское шоссе». Нападки на творчество И. И. Катаева закончились тем, что он был арестован 1937, осуждён по статье «враг народа» и расстрелян. После реабилитации 1956 произведения неоднократно

**ISBN 978-5-4241-2783-0**

© Издание на русском языке, оформление, «  
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «  
Книга по Требованию», 2011

Катаев И В  
Сердце



И.В. КАТАЕВ  
СЕРДЦЕ

И Податливое дерево радует умную руку мастера. Прилавок готов, плоскости его, вылизанные каленым языком рубанка, сошлись чудеснейшими прямыми углами. Он ждет покраски и полировки. Полки сияют свежей белизной; утренний бледнозолотой луч пересчитал их наискось и зарылся в вороха нежной стружки. Здесь светлее, чем на улице. Кисловатый аромат побелки исходит от стен и потолков. Широкие витрины забрызганы мелом, залеплены газетами, но утро могуче льется сквозь сетку шрифта и затопляет все. В гулкой сияющей пустоте я шуршу ногами по розовым стружкам, перескакиваю через груды теса. В заднем отделении сам Пузырьков. Он елозит на коленях по полу с желтым складным аршином, меряет тонкие тесины, поминутно доставая из-за уха карандаш, чтобы сделать отметку. Он оглядывается на меня, но не здоровается. На плечах, на картузе и даже на рыжих усах у него опилки. - Здравствуйте, Пузырьков. Где же все ваши ребята? Он смотрит в сторону, что-то высчитывая; губы его шевелятся. Что это он? - Вы что же один, Пузырьков? Где артель? Пузырьков нагибается над аршином: - Артель-то? Артель нынче не вышла. Всем гуртом к вам в контору пошли, деньги востребовать. На меня больше не располагают. Ты, говорят, хоть и староста, а тетеха, пень трухлявый, не умеешь с этой сволочью, с дуракратами, разговаривать. Это, то-есть, с вами. Ну, а я молчу, потому-что правильно говорят... Вот и не вышли. Я смотрю на Пузырькова с изумлением. Странно, ведь я еще третьего дня Гиндину говорил, чтобы выдал половину. - Чего ж так усталились, Александр Михалыч? - продолжает Пузырьков наставительно, - он уже встал с пола и отряхивает мешковой фартук. - Хватит с нами шутки шутить. Чай, не на митинге с вами рассусоливаем, а состоим в коммерческом контракте. Договорчик есть? Есть. Марки приклеены? Приклеены. Значит, работа сделана - денежки на стол. А ведь мы третий магазин вам отделяваем, денег же не видали, как кобыла задницы. Каждый день хожу, и все через неделю да завтра, завтра да через неделю. Больше сапогов собьешь. А еще каператив! Только измываются над трудящей публикой. - Это недоразумение, Пузырьков. Деньги вам выписаны, я сейчас же распоряжусь. А артели скажите, что несознательно поступают. Знают, что работа спешная - к празднику открытие, а они дело бросают. Деньги вы сегодня получите, но, пожалуйста, подгоните, чтобы не волынили. - Подгони, подгони, - ворчит Пузырьков, берясь за пилу, - подгонять-то рублем надо, а не разговором. Очень досадна эта волынка. Каждый день вот так. Идет, идет дело, - в сущности не плохо идет, - и вдруг - стоп. Телефонные объяснения, упрашивания, грустные размышления над векселями... С раздражением смотрю на упрямую широкую спину Пузырькова в синей линиялой рубахе. Пила визжит надсадно. А он уже подобрел и говорит сокрушительно: - Эх, Александр Михалыч, милый товарищ Журавлев. Не подумайте, что я на вас лично сердчаю. Скоро полгода, как с вами работаем, и действительно вижу - человек вы уж не молодой, без ветру, делом интересуетесь, вникаете во всякую тютельку. День у вас колесом идет. Не на вас мы обижаемся, а на сподручных ваших. Дело у вас серьезного размеру, а оптиков при деле нету. - Каких это оптиков? - Оптиков, ну, одним словом, опытных людей... Понабрали вы студентов, барышень тоненьких или мастеровых, вроде нашего брата, а разве этот народ может состоять в торговом обороте? Бывало к этой хитрости с издетства приуча-

лись, зато уж выходили серые волки. Только зубом шелканет, хап - и тысяча. Потому интерес имели к операциям, и порядок был, распорядительность; покупатель ходит, как блаженный, озарен улыбкой, а перед ним так и выются... Вот и ночью тоже. Возьмем частного... Пузырьков принимается не спеша рассказывать, как отделявали склад у частного, и, хоть объегорил на полцены, зато посулами не морил и еще всей артели с почтением поднес по стакашке. Но я уже плохо слушаю его. Я смотрю на облегающие стену пустые соты полок, и они оживают для меня. Если прищуриться - там начинают шевелиться товары, устанавливаясь и кокетничая. Тут, кажется, будет посудно-хозяйственное... Сюда войдут, как ослепительные латники, никелированные самовары, громыхнут шпорами и замрут на полках, ожидая прекрасную даму, - каждый свою, единственную. Рядом им сделают глубокий книксен бонтонные примуса, выставляя маленькую ножку из-под золотого роброна. О, рыжие астры огней в темных коридорах общежитий, немолчный шум, подобный отдаленному реву прибора, похотливое шкворчанье полтавского сала! Дальше хрупкие стаканы, стопки и рюмки запоют тонкими голосами; в их воздушной груди белый луч зимы заиграет, как в мыльной пене. Угрюмые, лобастые чугуны, кухаркины дети, будут внизу мечтать об утонченном бельэтаже. Я уже вижу ее, низенькую гладильщицу с "Передовой швей", с мягким носиком и белыми ресницами; она робко трогает за рукав супруга, смотрит на него снизу вверх и показывает пальчиком туда, туда, где голубые незабудки на скользких лужайках сервиза; тот сначала качает головой в зячем треухе, потом присматривается и... подзывает продавца. Там, за аркой, будет обувное, за ним - мануфактурно-галантерейное. Оттуда будут выходить, визжа новыми калошами и радостно стыдясь их наглого блеска; над прилавками глянцевиный сатин и мадеполам птицами завьются вокруг концов железного метра; ножницы вжикнут и, разинув рот, пролетят поперек ткани, будто ее нет; в картонных коробках спрячутся прохладные тайны белья, розовые подвязки, грезящие об округлости теплой ноги, ядовитый электрик и уютный бэж трикотажа. А во втором этаже - боже мой! - безголовая и чопорная манифестация пиджаков, полшубков, демисезонов. Я совсем закрываю глаза, и вот - женственно-сладкий запах товаров обвеваает меня, слышно шарканье сотен ног по усыпанным опилками изразцам, растет густой, банный гул, звенит серебро на стекле, шелкают кассы, и уже вращаются свертки в ловких пальцах продавцов и лопаются шпагат. Уплывает, уплывает... Все это новое, упругое, поскрипывающее уходит в жизнь - на любованье и зависть. Вот уже развертывают, и трепетный голос: "Ну, сколько б ты дал?.. Что ты, друг сердечный! За три целковых такую прелесть!.." Да, здесь будет наш образцовый универмаг! Сюда придет мой гуляющий и славный район, будет похаживать по залам, позвякивая получкой, подолгу выбирая заманчивые блага рабкредита. Здесь не будет ворчливых очередей у кассы и бестолковой давки возле прилавков, здесь мы вытравим брак и обмер, здесь мы поставим... - Замечались, Александр Михалыч? - тихо говорит Пузырьков. Что он, подслушал мои мысли? - А что ж, магазинчик и верно будет сто процентов. Место видное, угол бойкий, а уж отделаем его вам в полной гарнитуре. Только вы, Александр Михалыч, все-таки пошли бы насчет денег распорядиться. Ребята мои, небось, изматерились там во все небесное. - Все равно, Пузырьков, касса у нас раньше девяти не открывается. Как откроется, так выдадим. Ну, пока до свидания. И уже из другого зала я кричу ему: - Только, пожалуйста, дорогой, подгоните. Солнеч-

ный сентябрь гуляет по улице. Батюшки, уже сентябрь! Все умыто, прохладно и молодо. Улица опьянена торопливыми звонами утра. Трамваи запевают после остановок свою скрежещущую песню, потом - все тоньше, все тише и уносят людей прямо в счастье. Светлая стена дома ровно обрезает небесную синеву; стена и белые маркизы над витринами ликуют под солнцем как Ницца, как Палермо. От золотых букв витрины на тротуар падает косой отблеск. Я покупаю Рабочую газету в полосатом киоске; хмурая девушка с подвязанной щекой равнодушно перегибает и сует мне в руку целый земной шар стоимостью в три копейки. Удивительно хорошо устроено: кто-то где-то для нас хлопочет, и утром, заново ощутив свое тело, свою жизнь, мы можем еще ощутить бессонную жизнь страны, всего огромного мира! Не по заслугам хорошо. Лист газеты от солнца нестерпимо яркое; только крупные буквы - в Китае пробиваются своей чернотой и значением. Читаю на ходу; уже опухает внутри знакомым ветром волнения и гордости; после этого могут подступить приятные слезы. Но вот - по краю тротуара лотки с фруктами. Синие матовые сливы, тяжелые грозди винограда, в котором утро стусилось и стало влагой; если прокусить, потечет в самую кровь. Горка шафрана желтеет, будто освещена закатом. Почему Кулябин так копаются с фруктами? Хоть бы яблоки! Предлагал же Каширский союз по две тысячи триста вагон, франко-склад. Чудак, он хочет пропустить сезон! Лотки, палатки, рынки завалены, а у нас какие-то чахоточные груши полтора целковых десятков. Неужели наши руки так еще грубы, что мы не можем ухватить эту круглоту, эту нежность и сочность?! Ведь умеют же эти, чтобы было и свежо и заманчиво?! Ну, а овощи? За ними идут на базар... Краснорукие хозяйки с сумками. Ведь мы тоже можем. Ах, мы многое можем!.. Скоропортящиеся продукты - вот наша беда. А ведь мы обрушили бы их на рынок лавиной, не как эти - решеточками, тележечками, - вагоны яблок, поезда помидоров, гекатомбы бычьих туш! Гарантия качества, высший сорт, цены снижены на двенадцать процентов... А молоко? Да эх!.. На лестнице меня чуть не сбивает с ног Иванова. - Куда так стремительно? Ей уже жарко, пот блестит на ее низком лбу. - Позвонили из восемнадцатого. Ужасно! Завмаг обозвал предлавокма неумытым рылом. И это на глазах покупателей! - За что же? Погоди, погоди... Но она машет портфелем и тарыхтит вниз по ступенькам. В коридоре - я уже вижу от двери - артельные ребята. Одни сидят на диванчике, другие стоят, облокотившись на спинку, курят. Один из них выступает мне навстречу. - Гражданин председатель... Ага, это тот, молодой, что издевался насчет помощи безработным, лучший полировщик. Он сплевывает окурки, ноздри тонкого носа чуть колышатся. Смотрит на меня с превосходной дерзостью. Ничего, научились смотреть на Руси. - Имеем желание получить денежки. Из почтения к кооперативной организации... - Хорошо, - перебиваю я, - то, что причитается, мы можем вам уплатить. На складе вы еще не поставили мучных ларей. Но за первый магазин вы получите сейчас же, если имеете доверенность. - Это зачем же доверенность, когда вся артель налицо? - Этого требуют кассовые правила. - Правила?.. Ну, ладно. Васька, гони к Игнат Семенычу. Невдалеке - Мотя; она с интересом слушает этот разговор, перетирая полотенцем стаканы. - Мотя, попросите ко мне Гиндина. - А их еще нету. - Ну, когда придет. Вам, товарищи, придется подождать минут десять. - Полмесяца ждали, подождем и десять минут. Я направляюсь к своей комнате. Молодой жестко смеется сзади: - Сдались чиновнички. Выжимать из них надо, выкручивать, как из стирального вала. - Без

этого нельзя, - соглашаются на диване. У себя я усаживаюсь просматривать документы подотчетных авансов; их толстая кипа. От чернильницы - оранжевые и лиловые зайчики. В третьем молочном попржежнему нанимают ломовика на вокзал, когда можно брать грузовик из гаража губсоюза. Это, кажется, где такая грустная кассирша с подкрашенными губами. Краска странно не вяжется с тихим лицом ее, домашним и милым. В образцовой столовой второй раз за полтора месяца перекладывают плиты. Ради образцовости, что ли? Надо сказать Бруху, а то через неделю опять надумают... Гиндина все нет. Вот еще неловкость какая!.. "За оборудование стеклянного аквариума и искусственного грота для универмага N 2"... Хм, искусственный грот... Ну, вот он наконец! Гиндин молча здоровается, затем опирается руками на край моего стола, растопырив пальцы, и склоняет голову - будто в ухо ему попала вода. Это означает внимание. Нежно-сиреневый галстук. Фу, ты, чорт, каким он сегодня франтом! - Вот что, товарищ Гиндин, пожалуйста, сейчас же оплатите плотничьей артели по первому счету. Непременно сейчас же. Там, кажется, немного - не более трех тысяч. Что это? Тонкие брови Гиндина вздергиваются на лоб. - Александр Михайлович, откуда же я возьму три тысячи рублей? Мы же выкупили вчера вексель приказу Кожсиндиката. Вы сами распорядились. А сегодня опять шесть векселей, и после их оплаты в кассе денег не останется. Я еще не верю ему и себе. - Как так не останется? Не хватит оплатить счет? - Не хватит на три коробки спичек. - А на текущем? Гиндин смотрит на меня с чарующей улыбкой. - Вы ведь знаете, Александр Михайлович, что с начала этой недели у нас на текущем счету пусто. Пусто, как в чреве девственницы. Я откидываюсь на спинку стула. Барабаню пальцами. - Когда же мы сможем уплатить? Пожимает плечами. - Может быть, завтра, по сдаче выручки. Сегодня опять шесть векселей. Большие я вам не требую? Гиндин идет к двери. - Товарищ Гиндин!.. Но он не слышит. Я выхожу в коридор, втягивая голову в плечи. День начинается. II Долго и старательно бьют часы. Сколько это? Что? Уже двенадцать? Сейчас правление, а мне еще надо в райсовет насчет планирования торговой сети. Придется звонить Палкину, что часам к двум, не раньше. - 2-04-58! - Занято. Жду. - 2-04-58! - Занято. Начинает дрожать какой-то щекотливый нерв. - 2-04-58! - Занято. Тьфу ты, чорт, с этими еще телефонами!.. Входит Мотя со стаканом чаю, ставит его ко мне на стол. Потом рядом с ним кладет что-то в бумажном пакете. - А это что? Мотя глядит на меня, улыбаясь и моргая. Странно, какими маленькими и худенькими рождаются женщины для тяжелой жизни. Или жизнь делает их такими? У этой уже поблескивают седые волосы. Беру пакет, из него валятся три плюшки: одна глазированная и две с маком; пахнет постным маслом. - Это зачем же? Она улыбается совсем виновато. Она терется. - Это вам, Александр Михалыч... - Мне? Я же не просил. - Это я сама, Александр Михалыч... Покушайте. А то, я гляжу, каждый день вы с утра до вечера и безо всякой пищи. Так ведь известись можно. Вот я и... Она поворачивается и почти бежит, шлепя своими сандалиями. Я догоняю ее, сую монету. - Мотя, деньги-то возьмите. Она прячет руки, отступает. - Не надо, Александр Михалыч, я ведь так... - Ну, что вы, Мотя, неудобно. Берите, берите, а то я рассержусь. Спасибо вам. Берет. Глаза ее погасают. Уходит. А мне весело. Эге, какой солнечный день! Земля-то, она еще совсем молодая, хоть и притворяется старушкой. Ужасно, до смехоты молода! Как те старшие сестры, что смеются над куклами младших, а сами еще такие молочные и розовые. - 2-04-58! Благодарю вас.

Палкин? Журавлев говорит. Здорово, приятель. Ты как хочешь, а я к тебе раньше двух не могу, у меня сейчас правление... Да, да, непременно. Ну, как постройка?.. Слушай, Палкин, ты и для наших ребят имей в виду. Кулябин до сих пор в какой-то уборной... Ну, ладно, тогда поговорим. Пока.

Правленцы постепенно собираются; я пересаживаюсь за длинный стол. Почти все они уже побывали у меня сегодня по одиночке, каждый со своими безвыходными положениями и дежурными катастрофами. Я копался в их делах, как часовщик в путанице разладившихся колес и винтиков, силясь разобрать и снова пустить в ход. И за всем этим я, как всегда, позабыл заметить самих людей. Но теперь они сошлись все сразу, молчат, просматривают материалы, шелестят листами, - я могу глядеть на них и думать все, что хочу, пока не пришел Аносов. Почему-то веселая нежность к ним играет во мне сейчас. Нежность и пафос. Если бы я мог сказать им все, что думаю! Нет! - удивятся, рассердятся, испугаются даже. А то я сказал бы:

"Товарищи мои! Вы уткнули свои деловитые носы в тезисы и отчеты. Лучше посмотрите каждый на себя и друг на друга и на всех вместе. Все вы удивительно хороши. Великолепная и незаметная дружба отграниченности связывает вас. Дружба красноармейцев в разведке, холостой компании за столиком шумного кафе или футбольной команды перед матчем. Уют сотоварищества! Вы собрались в деле, которое трещит и пляшет под ногами, ибо преодолевает грузные волны рынка, шквалы безденежья, мели вежливого равнодушия. У вас могут быть тысячи доброжелателей, но сделать их настоящими помощниками можете только вы сами. Все зависит от вас. И вы это поняли. Каждый из вас отдает этому делу самое драгоценное - свой человеческий день; он уже не может смотреть в глаза своей жене столько, сколько хочется, не может собирать грибы и думать о том, почему трава зеленая, а не красная. Он думает и делает для своего кооператива..." - Ну-с, товарищи, - это говорю я, - можно начать. Порядок дня. Первое - о перспективах слияния с кооперативом "Красный табачник" и формах нашей дальнейшей работы в районном масштабе. Второе - об итогах обслуживания дачных районов. Третье - о работе с готовым платьем в осеннем сезоне. Четвертое - текущие дела. Дополнений, изменений, поправок - нет? Нет. По первому вопросу слово для доклада имеет товарищ Аносов... И шопотом: - Только, Вася, пожалуйста, покороче, я могу быть только до двух. "Так вот, слушайте, милые мои друзья. Полсуток, полжизни ваш мозг мобилизован, но вы не тупеете, не высыхаете, - от каждого из вас, как от укутанной квашни, пашет теплом брожения, набухания и роста. Глаза ваши то гневно косят, то сужаются в усмешке; вы пожимаете плечами, нервно хрустите пальцами; человеческая шутка порхает возле уголков ваших губ; каждого кто-нибудь целует в эти губы и в те, нежные, как дыхание, уголки - между глазом и переносицей. Каждый носит в себе единственного, всемирного себя и, не раздумывая, не скаредничая, вкладывает это богатство в указанное ему дело. Правда, любого из вас завтра могут приставить к другому делу и кругу людей, и любой в тот же день назовет это новое дело своим, вползет в него, как пчела в улей, будет его оборонять и прославлять и, может быть, кичиться им будет перед старым делом и, возможно даже, постарается чуть-чуть подкузьмить этому, старому, если нужно... Но что из того! Сегодня мы здесь, сегодня мы взялись за руки в этом кольце. Да здравствует же каждое звено его! Вот он - наш товарищ. Любуйтесь его дубовыми чертами! Впивайтесь глазами и сердцем в его

величавый облик! "Вот он - наш завпищеотделом Кулябин. Вы видите - он тяжек, темнолиц и космат. Кроме того: он профессиональный неудачник. Трамваи, карандаши, стулья, женщины, тротуары, управдомы - вся земля - неудобны для него. Все это трещит, ломается, скандалит и просто мешает. Навлекает синяки, штрафы, насмешки, рыдания. Все это надо бы переделать для Кулябина. Революция и завод - вот это еще ничего, это подходящее, как он любит говорить про то, что ему по нраву. Революция подарила ему охоту жить и миллионов сто надежных товарищей, - заграница у него не в почете - говорит: "пока что - кишка тонка, а там посмотрим". Завод научил его работать - угрюмо, упорно, до ломоты в костях. Но революция теперь тоже вроде узкого тротуара - переть нельзя, иди мелким шагком да осматривайся, не то какой-нибудь дамочке на мозоль наступишь. А завод - из литейной, где искры гасли в черной буре его волос, где кожаный передник, как березовый лист, свертывался от жару, - выдвинул его ответственным работником кооператива. Теперь он заведующий, он член правления, он делает трехсоттысячный оборот. Через его каменные руки идет самое тонкое, самое ароматное - мягкая мука, прозрачный мармелад, какао, гастрономия, вина - то, что для нежной гортани, для розовых кишек. Да! - у него пудами тухнет лососина, да! - у него подмокает сахарный песок. Но посмотрите, как дрожат его колени под лоснящимися пузырями штанов, когда он докладывает мне об этом, как чернеет он лицом, как поздно вечером, обегав магазины, шагает, подняв воротник и засунув руки в рукава, в свою гостеприимную уборную (к счастью, в квартире их две). Больше этого у него не случится, - лучше ему самому подмокнуть и протухнуть до костей! Товарищи! На той неделе Кулябин пришел ко мне и рассказал, - он говорит мне обо всем, - как он покупал складную кровать на рынке. Кровать стоила шесть рублей, он дал торговцу червонец и получил четыре рубля сдачи. Потом оказалось, что по ошибке он отдал бумажку в три червонца. Двадцатишестирублевое полотняное дрянцо в первую же ночь развалилось под его костистой тушей. На другой день он дал в задаток пятьдесят рублей какому-то фрукту, который обещал ему комнату. Фрукт немедленно сгинул и не показывается до сих пор. И это было почти все, что у Кулябина оставалось от полочки. Ночью в переулке его окружили хулиганы и отняли у него золотые часы фронтовой подарок, единственное изящество его жизни. Кулябин рассказал мне обо всем этом потупившись и постукивая носком огромного ботинка. Он не попросил аванса, да я бы и не дал ему, потому что в кассе по обыкновению было жидко. Я всучил ему свою пятерку и выругал его за то, что он, кооператор, ходит за покупками на рынок, за то, что он ввязывается в квартирные дела с разной шпаной. И он просил меня никому не говорить о своих неувязках: будут дразнить. Но вот, я рассказываю это вам во всеуслышанье и советую: погладьте Гришу Кулябина по большой голове, позовите его, одинокого, в гости, пусть ваши приветливые жены напоят его чаем с вареньем и пусть он сделает страшную козу вашим октябрятам. Он не знает, но все это страшно нужно ему. "Васька Аносов, ты недовольно косишься на меня и думаешь, что я плохо слушаю твой ясный тенор. Нет, я слушаю тебя. Да, да, я знаю, без торговой сети "Красного табачника" район не может быть обслужен, а будет все тот же параллелизм и нездоровая конкуренция. Я знаю, что у них два векселя в протесте и затоваренность по сухофруктам, по обуви и по кустарным изделиям. Благо, мы вместе с тобой сочиняли тезисы доклада. Но сегодня ты сам для меня важнее всех парал-

лелизмов и сухофруктов. Вот она, цветет перед нами твоя душа, великий орготдельщик. Твоя прохладная, подозрительная и честная душа. Ты тоже пришел сюда от машин, ты, расстриженный за оппозицию яичковый секретарь, но книга лежит у тебя в голове, как на аналое, и хрустят ее страницы. Ты начетчик, ты марксоед, ты читата в брюках. Когда же успел ты всосать эту страсть к книжной точности, аккуратно расчерченным схемам и календарным планам, - до семнадцатого косноязычный закройщик, а в девятнадцатом агитатор подлива? Я знаю, что после ты прошмыгнул только через какой-то ускоренный выпуск. Наверное, глотал страницы в теплушках, держа брошюрку так, чтобы свет падал на нее из раскаленной печной пасти, в госпиталях, украдкой от сестры доставая книгу из-под матраца, на длинных собраниях, пряча ее между колен. И вот, мысль твоя стала упругой и светлой, как вязальная спица; фразы теперь гладкие у тебя и будто масляные, как желтые волосы твои, расчесанные на строгий пробор. Еще - ты маэстро перспективного плана. Ты стоишь над всяким делом, порученным тебе, будто над шахматной доской и знаешь наперед все ходы - свои и противника. Ты можешь организовать все - кооператив, сеть нормальных политшкол, двухнедельник борьбы с насморком - в семь ходов, в шестнадцать и в тридцать восемь. Но кроме себя ты никому не веришь. Потвоему, все на свете - лентяи, ротозеи, бюрократы и растратчики. Все только и мечтают о том, чтобы сделать карьеру или, по крайней мере, три месяца прохладиться в крымском санатории. "В работе, - говоришь ты, все эти гадости и подлости можно предучесть, но если бы я заразился болезнью розового взгляда, тогда моему делу аминь. Надо бороться". И ты бичуешь эти воображаемые полчища бездельников цитатами из всех двадцати трех томов. Вот, ты слушаешь на собрании чье-нибудь радужное и благонамеренное излияние, и хитрая морщинка отчеркивается у тебя с краю красивого рта. Сейчас ты будешь язвить и разочаровывать с цифровыми данными в руках. Ладно, Аносов. Завтра я опять буду крыть тебя на ячейке, а ты опять усмехнешься и скажешь: "Этой демагогией, товарищи, можно кормить только годовалых младенцев - вместо манной каши". Но сегодня я гляжу на острый и чистый твой профиль и от лица всех собравшихся благодарю тебя за то, что ты живешь. За то, что ты с нами и любишь нас тайком, над нами насмехаясь, за твою суховатую, смертельную честность, за твой мужественный скептицизм, без которого, и верно, мудроно прожить на свете. "И вот третий наш столп, наш Бурдовский..." - Вопросов к докладчику нет? Приступим к прениям. Кто? Ты хочешь, Кулябин? Ну, валяй. "Итак, Бурдовский, король ширпотреба и зеркальных витрин. Бурдовского вы все замечаете, потому что его нельзя не заметить - многоречивого и восторженного. Но восхищаетесь ли вы им, влюбились ли вы в него, как надо? Вот он идет к вам, припадая на своем протезе, и кричит, хохоча, еще издали: "Ты знаешь, какую машинку я видел вчера в преискуранте Амторга? Это - улыбка, это - благословение небес! Она, мерзавка, не только отвечает и запечатывает пакет, она еще цену показывает в окошечке. Нужно немедленно выписать и поставить во всех магазинах". Сегодня мы приветствуем тебя, могильщик азиатской розницы. Твоей боевой клич долой грязные базары, дикарские ярмарки, гнилые ларьки и киоски, да здравствует семиэтажный универмаг! Ты грезишь о нем, о дворце вещей, в котором поют плавные лифты, шелестят фонтаны и товары шлют воздушные поцелуи покупателям. Ты грустишь: в магазине люди должны покупать и - мечтать, писать стихи, объясняться в любви, заниматься

самоанализом. А у нас!.. Америка, двадцать Америк, Америка в десятой степени - вот твой завет. А пока ты украшаешь витрины. Ты проливаешь водопады тканей на головы восхищенным прохожим, вавилонской башней громозишь лоснящиеся чемоданы, чемоданишки, чемоданчики, сочиняешь узорные сказки из тарелок, ламповых ершей, мясорубок. Витрина должна обновляться еженедельно, говоришь ты, неутомимый режиссер вещей". - Слово товарищу Бруху. "Вчера вечером я шел мимо нашего первого универмага и - замер. Там - в тесном интерьере, рассеченном пополам тенью огромного абажура с зелеными висюльками, за чайным столом розовощекий болван читал Известия, развалившись в кресле и положив ногу на ногу. Супруга болвана визави пила кофе из прозрачной чашечки, оттопырив восковой мизинчик. Кофейник блистал на белоснежной скатерти, среди салфеток, тарелочек, вазочек с печеньем, молочников, шипчиков. Кругом все было уставлено и увешано вещами - стульями с высокой спинкой, круглыми столиками, солнцеликими подносами, щетками для смахивания крошек, кривыми как ятаган, деревянными блюдами Хлеб-соль ешь, полочками, статуэтками, панно с тетерками. Коврики и дорожки распластались под ногами четы, и дебелий резной буфет, как обожравшийся аббат, лениво благословлял ее. "Обрастайте! - вопила витрина, - загромождайте жизнь деревом, стеклом и мельхиором, в этом закон и пророки, счастье и тишина". Сегодня утром я приказал тебе, Бурдовский: немедленно разрушь это семейное счастье и придумай что-нибудь другое. Но разве ты уймешься! Мы ведь знаем, что ты и сам будешь есть картошку на хлопковом масле, а не наденешь ничего, кроме синей тройки импортного сукна, что от тебя за версту разит шипром и что старообразная твоя жена ходит в каракулях, увешанная фальшивым жемчугом, пушистыми боа и крокодиловыми сумочками. Но ты украшаешь ее как универмаг универмаг любви и попечения, только потому, что ты художник и глашатай вещи; мы знаем: ты хочешь, чтобы вещь принадлежала всем". - Товарищ Бурдовский, пожалуйста. "Ты ведь коммунист, Бурдовский, общественник и графоман. Ежевечерне, своим бисерным почерком счетовода, ты смолишь длиннейшие статьи об американизации розницы, о механизации складского хозяйства, в упоении отвинчиваешь кожаную ногу - мешает думать - и потом, размахивая руками, на одной ноге скачешь к жене, чтобы послушала и похвалила. Ибо - "советский хозяйственник должен каждый свой шаг ставить под контроль масс" - это твое правило. Тебя не огорчает, что твои статьи чаще всего попадают в редакционные корзины. Хлопотливая, стремительная жизнь переполняет тебя, ты обдаешь нас теплыми ливнями своего добродушия, ободряешь самоуверенных хохотом. Спасибо тебе за это. "Мы с вами только на троих посмотрели внимательно, а вон ведь их сколько, творцов и человек. Чем плох наш Гиндин, финансы? Имейте в виду - он всего полтора месяца женаг на смуглой и белозубой студентке-медичке, а опаздывает на работу не более, чем на полчаса. И не промечтает ни одного вексельного срока, будьте спокойны. А Иванова, массовая работа, женщина-эскадрон, как зовет ее Бурдовский, потому что она с топотом и криком день-деньской рыщет по району? А толстый Брух, общественное питание, хранитель священных поварских традиций и беззаветный шахматист? Ну, а те вон, на конце стола - Голубева, Кривенко, Поплетухин? - каждый из них - это целый мир или, если хотите, кооператив, в котором..." - Как, товарищи, больше никто не хочет? На заключительное слово ты, Аносов, надеюсь, не претендуешь? Я его скажу за тебя, так как мне